

О нашей университетской жизни в 1941–1945 годах

Владимир Толстой

Почему мой жизненный путь сложился не так, как у большинства моих сверстников и соотечественников во время войны: когда они служили в армии, сражались на фронте, я всю первую половину 1940-х годов учился в Московском университете и дожил до глубокой старости. Разобраться в этом нужно и, прежде всего, мне самому. А поможет этому подробный рассказ о том, как прошли для меня эти годы.

Весной 1941-го я заканчивал московскую среднюю школу № 586 в Кадашевском переулке Замоскворечья. Наш выпускной вечер проходил накануне 22 июня – рокового рубежа между миром и войной. Сразу же меня не призвали в армию, поскольку мне еще не исполнилось 18 лет. Таких, как я, допризывников райком комсомола направил на станкостроительный завод «Красный пролетарий», что на Донской улице. Там меня определили в механический цех № 2 учеником фрезеровщика. Это было 28 июня 41-го – так значит в сохранившейся у меня «Приемной записи» № 20. Я уже начал под надзором наставника работать на фрезерном станке. Мне нравилось, как в веере искр врезается сверло в толщу металла. Приятно было сознавать, что ты при настоящей деле, хотя режим работы и вся обстановка в гремящем цеху были трудными. Однажды, в одну из ночных смен мой одноклассник Сёма Гинзбург, работая на станке, серьезно поранился – ему оторвало два пальца правой руки. Во избежание подобных эксцессов, заводское начальство решило освободиться от нас, школьников-допризывников, ведь они были явно временными и, к тому же, необученными кадрами, с которыми не стоило возиться.

Словом, оказавшись за воротами завода, мне нужно было выбирать иное полезное занятие. Можно было, конечно, поддавшись патриотическому порыву, пойти в ополчение, но оно формировалось по учреждениям из таких же, как я, сугубо гражданских лиц – необученных и неприспособленных к войне. К тому же, честно, я не был готов к подобному поступку и решил дожидаться призыва на воинскую службу, чтобы воевать подготовленным и обученным, когда настанет мой час. А пока, летом 41-го, я жил в Подмосковье, у тетки. Там же в начале июля пошел на общественную работу в колхоз «Новая жизнь» Хри-

паньского сельсовета и был «на ней закреплен на все время сезонных работ» (как сказано в выданной мне председателем колхоза справке). Приходилось работать и на сенокосе, и на прополке и уборке овощей, и покопаться в сырой, холодной земле при сборе картошки. Но все это мы делали дружно и весело в компании такой же «неприкаянной» молодежи. Здесь я познакомился и сдружился с Димой Комиссаровым и его сестрой Галей (впоследствии писателем и журналисткой), Сергеем Николаевичем Плотниковым (сыном знаменитого актера-вахтанговца).

Кончилось лето, а с ним и работа в колхозе. Наступили осенние холода, надо было перебираться в город, а повестки из военкомата все не было. Я уже подумал, может из-за того, что я сын репрессированных родителей (хотя и отсидевших, но с судимостью). Или потому, что у меня нет постоянного места жительства, ведь бабушкино ветхое жилье, где я был прописан, сгорело в первую бомбежку Москвы 22 июля. Правда, к концу октября 1941 года райсовет после долгих хлопот дал нам временное пристанище – в квартире эвакуированных в подвальном этаже дома в Страчановском переулке возле Пятницкой улицы. Наступил самый напряженный драматичный период обороны Москвы. На всех улицах Замоскворечья устанавливали противотанковые заграждения из стальных ежей, возводились высокие стены из мешков с песком. В городе шла массовая эвакуация, иногда переходящая в паническое бегство. В такой тревожный момент я не мог и не хотел оставаться в стороне от решающих событий и решил поступать на военную службу сам, не дожидаясь повестки. Для этого был подходящий случай: мой школьный друг Юра Галямин, уже военнослужащий, служил в райвоенкомате на Маросейке, и его начальник согласился призвать и меня. При этом предупредил, что, возможно, придется обороняться на улицах Москвы. Я был согласен на все, тем более что рядом будет мой друг Юра. В осадной военной Москве я стыдился своей гражданской одежды, своего молодого и здорового вида. Но, увы, мои надежды вскоре рухнули: начальника того военкомата, где служил Юра, сменили, а его самого направили в школу подготовки младшего комсостава. Я же так и остался «на гражданке» и только по направлению домоуправа временами работал то на строительстве заграждений, то на уборке улиц от снежных завалов. Наконец я получил повестку из своего военкомата и 1 ноября «явился с вещами», несмотря на то, что был явно болен – с ангиной и опухшим, налитым кровавым глазом. Меня направили на медкомиссию, а оттуда в районную поликлинику, к окулисту. Он долго, внимательно изучал мой больной глаз и сказал: «Это не конъюнктивит, как ты думаешь, дело гораздо серьезней. Будем закапывать капли до тех пор, пока зрачок не раскроется. А если не удастся – плохо, можешь лишиться глаза». К счастью, после многократного закапывания атропина зрачок немного раскрылся. Провожая меня, врач напутствовал: «Теперь тебе предстоит долгое и мучительное лечение:

боль будет страшная – ведь затронут зрительный нерв. Когда будет не-возмогу, – прикладывая к глазу максимально горячий, мокрый компресс – сколько сможешь вытерпеть». С этим заключением я вернулся в военкомат и получил отсрочку от призыва на время лечения.

Не думайте, что в трудное время, когда шли бои на подступах к Москве, я был поглощен только своей болезнью и ничто иное меня не занимало. Ведь жизнь продолжалась: нужно было, несмотря на боль и слепоту, в меру сил помогать своим близким поддерживать наше существование. Но главное, чем я тогда был занят, – это следил по радио, как разворачивается битва под Москвой. Все мои близкие, и я в том числе, надеялись и даже были убеждены, что Москву не сдадут, хотя сводки Информбюро за ноябрь – начало декабря, несмотря на бодрый тон, становились все более тревожными. И потому экстренное сообщение Информбюро от 13 декабря 1941 года о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой стало для нас долгожданной радостной вестью. Торжественно-победный голос Левитана по радио, расклеенные по городу большие листы с экстренным сообщением Информбюро, всеобщее ликование москвичей – таким запомнился мне этот радостный зимний день. Даже в погоде произошел перелом: после морозов вдруг потеплело, с неба медленно падали крупные снежинки... Именно в тот день как бы сами собой у меня в голове сложились эти строки:

*Я был уверен – что так и будет:
Придет день, наступит этот час –
И эта дикая немецкая орда
Со скрежетом, упрямым нехотеньем,
Как па-да-ющая стена,
Качнется, постойт мгновенье в необъяснимом положении
И рухнет. Сразу. Будто не была.*

Болезнь моя затягивалась, несмотря на все лечебные процедуры и неоднократные консультации в Центральной офтальмологической больнице имени Гельмгольца. Не раз приходилось бывать на медкомиссии и военкомате и получать кратковременные отсрочки от призыва. В феврале 1942 года мне выдали «удостоверение об освобождении от военной службы, с периодическим освидетельствованием состояния здоровья». Поскольку в ближайшее время служба в армии отпала, нужно было как-то определяться «на гражданке». Работать полуслепым было невозможно, учиться тоже трудно, а пребывать на иждивении у матери с бабушкой просто недопустимо. И тут как-то по радио (а черная тарелка репродуктора, по которому объявлялась воздушная тревога, никогда не отключалась) мы узнали о возобновлении учебных занятий в МАИ (Московском авиационном институте) и наборе студентов на I курс. И я решил туда поступать, поскольку других вариантов не было, а мой диплом с отличием за окончание средней школы давал право поступления в любой вуз без экзамена. И хотя в школьные годы я тя-

готел к литературе и готовился поступать в ИФЛИ по какой-нибудь гуманитарной профессии, в нынешнее военное время, считал я, нужно иметь более практичную деловую специальность. И вот в сопровождении мамы я отправился в МАИ, который, как известно, располагается в начале Волоколамского шоссе. Чтобы туда попасть, нужно было пройти через пропускной пункт в мощном противотанковом заграждении. В приемной комиссии без излишних процедур меня зачислили студентом I курса самолетостроительного факультета – так это значит, что сохранившемуся у меня пропуску, без которого тогда нельзя было попасть на территорию МАИ. Но когда я, полуслепой, с согревающей повязкой на лице, очутился в обширной темноватой аудитории, где преподаватель что-то говорил и писал формулы на доске, а мне ничего было не видно, не слышно и непонятно, я остро ощутил свою чужеродность этой среде. И это ощущение нарастало с каждым днем моего недолгого посещения МАИ. Очень скоро я понял, что учиться здесь я не смогу ни по своим интересам, ни физически: я не мог выполнять письменные задания, делать чертежи и все прочее, что составляет суть инженерной профессии, – этому сопротивлялось все мое существо. Все же, пересиливая себя, я продолжал ходить в МАИ и даже тогда, когда услышал по радио, что в Московском университете в марте 1942 года возобновляются учебные занятия и открыт дополнительный прием студентов на первый курс филологического факультета. Как я узнал позже, в состав филфака МГУ влились преподаватели и студенты искусствоведческого отделения закрытого перед войной ИФЛИ.

3 марта 1942 года – очень важный для меня день, когда я, тоже в сопровождении мамы, с повязкой, закрывающей пол-лица, пришел поступать на искусствоведческое отделение филфака МГУ. Тогда оно находилось на первом этаже одного из университетских зданий в начале улицы Герцена (Б. Никитская). В пустынном большом помещении, на полу которого валялось множество бумаг и зачеток (видимо, брошенных в суеде эвакуации октября 1941 года) в углу за столом сидел в одиночестве профессор Михаил Владимирович Алпатов. Я хорошо знал его, потому что еще школьником иногда присутствовал на его занятиях с экскурсоводами Третьяковской галереи, где тогда работала моя мать Вера Владимировна Толстая. М.В. Алпатов приветливо встретил нас, нарушивших его одинокое дежурство. Он объяснил, где и чем будут заниматься студенты на отделении истории и теории изобразительных искусств и каковы сроки начала и окончания учебы. Поскольку никаких препятствий для моего поступления не было, меня тут же включили в состав студентов первого курса. И уже в середине марта я стал систематически посещать занятия в МГУ, продолжая еще числиться студентом МАИ.

В те студеные мартовские дни наша искусствоведческая группа занималась в небольшой комнате верхнего этажа Психологического

корпуса МГУ, что позади импозантного здания университетской библиотеки на Моховой, 11. Состав нашей группы был преимущественно женский. Всех, конечно, не помню – назову лишь тех, с кем тогда познакомился с первых дней и со многими прошел всю жизнь: Лида Акимова, Надя Виноградова, Магда Ракова, Наташа Лапшина, Нина Езерская, Таня Горина, Светлана Ходжаш, Рена Цагарелли и пополнившие нашу группу, вернувшись из эвакуации, Таня Каптерева, Таня Гурьева-Гуревич, Саша Каменский, Дима Сарабьянов и др. Мужчин в нашей группе было мало, что и понятно для военного времени: кроме меня, это Олег Сопоцинский, Вадим Ольшевский и еще двое, вскоре исчезнувшие из нашей группы: некто Ришар, столичный пижон, кажется, подавшийся в театроведы, и парнишка из провинции по фамилии, кажется, Беляков. В другую, старшую и малочисленную искусствоведческую группу, входили те, кто еще до войны учился в ИФЛИ: Евсей Ротенберг, Ирина Антонова, Ирина Данилова, Нина Баркова, Владислав Зименко – других не помню... Все военные годы обе эти группы занимались параллельно, но независимо друг от друга и закончили МГУ с интервалом в полгода.

Занимались мы в холодном темном помещении с наглухо забитыми фанерой окнами. Впрочем, затемнение нам подходило, так как лекции по искусству Древнего Египта (профессор Всеволод Владимирович Павлов), античной Греции (Владимир Дмитриевич Блаватский), древнерусскому искусству (Михаил Владимирович Алпатов), да и все другие лекции сопровождалась показом черно-белых диапозитивов и иногда цветных репродукций, для чего был у нас старинный проекционный фонарь с эпидиаскопом. Наш Психологический корпус пострадал от бомбежки, отопления и воды не было. А по нужде приходилось бегать на улицу. Да и другие помещения, где в первые годы приходилось нам заниматься, были в подобном положении. Вообще наша искусствоведческая группа в те годы была какой-то неприкаянной: кроме Психологического корпуса, нам приходилось бегать на лекции в Большую аудиторию биофака, построенную амфитеатром, или сидеть в промерзшем до инея внутри старинном здании ГИТИСа в Кисловском переулке, а позднее некоторое время заниматься в стандартном школьном здании на Малой Бронной. Словом, места наших занятий территориально были очень разбросаны, а по элементарным удобствам, в сущности, одинаковы. И только в последний год обучения искусствоведы обрели постоянное место пребывания – на верхнем этаже левого крыла исторического здания университета на Моховой, 9. Там проходили лекции и семинарские занятия Б.Р. Виппера, Г.А. Недошивина, Ш.М. Розенталь, Ю.Д. Колпинского, Н.К. Коваленской, В.М. Василенко, П.И. Лебедева, а по музееведению профессора М.И. Фабриканта. К практическим навыкам живописи и графики нас приобщал художник И. Пупарев. Вместе со всеми студентами филфака мы слушали блестящие лекции по истории

западной и русской литературы Л.Е. Пинского, Н.И. Либана, доцента В.Д. Дувакина – тогда еще молодых, но уже знаменитых преподавателей. Там же, в тесной комнате, отведенной для кафедры искусствovedения, мы сдавали экзамены и защищали свои дипломные работы. За давностью лет не берусь последовательно и систематично рассказать о рутинной повседневности нашей студенческой жизни. Но некоторые, наиболее памятные моменты постараюсь оживить в памяти.

В начале войны я начал вести дневник, довольно обстоятельно отражавший все, что происходило со мной и в ближайшем окружении. Но потом реальные дела и заботы все больше оттесняли эти бытовые подробности. Однако в записях 1942–1943 годов содержится нечто, не утратившее интереса. Памятным для меня эпизодом нашей студенческой жизни 1943 года было знакомство с Димой Сарабьяновым, недавно влившимся в нашу искусствovedческую группу; он был сыном популярного и громогласного профессора философии Владимира Сарабьянова, лекции которого мне доводилось слушать. Однажды в «окно» между лекциями Дима, чтобы скоротать время, повел нас с Олегом Сопоцинским к себе домой, в старинную профессорскую квартиру в Брюсовом переулке. Тот кратковременный визит запомнился тем, что, сев за рояль, Дима мощно и уверенно взял первые аккорды фортепианного концерта Рахманинова, хотя и уверял нас, что играть не умеет. И сам Дима, и вся обстановка старинной профессорской квартиры запечатлелись в моей памяти, добавив еще один штрих к образу моего сокурсника – талантливого и обаятельного молодого человека.

Но следует вернуться к первым месяцам моей учебы в МГУ. О них можно узнать из моего дневника за 1942 год. «Зима в этом году стоит суровая, без оттепелей, мороз порой доходит до 40 градусов. Даже в середине марта стоят холода, непривычные для этого времени года, –15, –20 градусов, с резким ледяным ветром и вьюгой. Но днем солнце начинает пригревать, снег темнеет и ноздрится. Хожу в МГУ, слушаю лекции по античному искусству и средневековой литературе, хожу на семинар В.М. Василенко по описанию и анализу памятников искусства. Холодно и голодно постоянно. Последние две недели обедаю в столовой МГУ. Изловчившись, там можно получить два обеда (каждый за 120 граммов талонов на крупу). За это получаешь суп-лапшу – довольно приличную и пшеничную кашу из неочищенного зерна на постном масле. Конечно, все в мизерных дозах. Это еще лучшее, что сейчас можно иметь. Мой знакомый студент живет исключительно на этом плюс 600 граммов черного хлеба и чай в буфете – вот все, что ему удастся съесть за день. А это крупный, здоровый парень. Живет он одиноко в пустующем общежитии без электричества, воды и даже радио. Каждый день для него – постоянный голод и холод. Но при этом он жадно знакомится с античным искусством, «сыплет» латинскими поговорками и насвистывает любимые мелодии. Зовут этого парня

Борис Крылов. Его родители живут в деревне, а он упорно пробивает себе дорогу здесь». Да, учиться в военное время было трудно, в условиях постоянного мучительного голода, холода и недоедания, при частом отключении электричества и отсутствии элементарных удобств. Все весенние месяцы 1942 года мы постоянно кочевали по разным помещениям и аудиториям, подолгу засиживались в библиотеке, благо нам был открыт доступ в старое здание Ленинки – Пашков дом с его великолепным Белым залом при относительном тепле и хорошем освещении. Здесь можно было получить нужные книги и готовить письменные задания. Не то что дома, в нашей тесной комнатке на Серпуховском валу, куда мы переселились в январе 1942 года взамен нашего временного пристанища. К июню 1942-го предстояло сдать более десяти экзаменов и зачетов. Приходилось наверстывать упущенное время, чтобы окончить первый курс в июне. Но и в дни этой напряженной повседневной работы встречались неожиданные радости – и малые, и большие, но одинаково памятные мне.

Однажды в апреле 1942 года выдался чудесный солнечный день. Страдая от холода, мы слушали лекцию Андрея Александровича Губера в донельзя промерзшем здании ГИТИСа в Кисловском переулке. За окном было так хорошо, а внутри – так холодно и мерзко, что в какой-то момент все мы – и студенты, и профессор – дружно подхватив стулья, выбежали на солнышко перед домом и там, рассевшись вокруг лектора и постепенно отогреваясь, с удвоенным вниманием продолжали слушать лекцию по культуре итальянского Возрождения. Солнечное тепло, пьянящий весенний воздух, а главное, безотчетная радость жизни и молодость – все это соединилось в тот миг в незабываемое радостное ощущение. Случались и другие гораздо более значительные события в ту беспросветно суровую череду дней 1942 года. Незабываемым стал для меня день 31 марта 1942 года, когда впервые в Москве, в Колонном зале Дома Союзов прозвучала Седьмая симфония Шостаковича в исполнении оркестра Гостелерадио. Вот что записано у меня в дневнике об этом событии: «Вчера вечером мы с мамой слушали Седьмую симфонию Шостаковича, начатую в блокадном Ленинграде. <...> Никогда еще музыка не оказывала на меня такого потрясающего действия – она буквально ошеломляет». (А ведь в довоенные годы я часто бывал в консерватории на лучших концертах). С неотвратимой неизбежностью передано здесь приближение грозной разрушительной силы в зловещей, все нарастающей, приплясывающей мелодии первой части симфонии. Она предвещает неотвратимость приближающейся катастрофы. Но сила этой симфонии в том, что она вмещает в себя все многообразие и противоречивость обуревающих нас чувств. Вторая часть симфонии – скерцо, где грациозно-лиричное настроение, сменяющееся ярмарочно-праздничным скерцо. В третьей части – светлая торжествующая песнь скри-

пок и противостоит, и переплетается со зловещими отзвуками первой части симфонии. И наконец – грандиозный торжествующий финал. И все же эмоциональное воздействие первой части доминирует, оставляя неизгладимое впечатление».

Оркестр под управлением Самосуда звучал мощно и торжественно в этом великолепном белоколонном зале. Бурными овациями публика приветствовала Шостаковича и после первой части, и в финале. Когда после неоднократно возникающих аплодисментов зал наконец стих, на эстраду вышел пожарник и громко сказал: «Граждане, в городе – воздушная тревога. Спокойно спускайтесь в вестибюль». Оказывается, тревога была объявлена еще в середине исполнения симфонии, но сообщили об этом только после финала. Все без паники спустились вниз, но на улицу не выпускали: тревога продолжалась. В вестибюле скопилось много людей, и сколько знакомых лиц здесь можно было видеть: и М.В. Алпатов, и наши две Ирины – Антонова и Данилова, и другие студенты. Оказывается, Москва не так уж велика: люди одного круга интересов часто сталкиваясь друг с другом, фактически становились знакомыми. А когда после отбоя тревоги мы спустились в метро «Охотный ряд», там тоже было много знакомых лиц: ведь здесь из-за тревоги скопились зрители окрестных театров.

В моем дневнике сохранилось упоминание и о другом памятном концерте. Он состоялся через год, 27 апреля 1943 года в Большом зале консерватории специально для студентов, преподавателей и всего персонала Московского университета. Это был грандиозный праздничный концерт, в котором участвовали и симфонический оркестр, и солисты оперы и балета, и мастера художественного слова – чтецы и пародисты. Концерт так затянулся, что я не мог дожидаться его окончания, чтобы попасть домой до комендантского часа, когда движение по городу было запрещено. И все же на Каменном мосту ночной патруль задержал всех опоздавших и препроводил в отделение милиции, где я провел в веселой компании театралов весь остаток ночи.

Но вернемся вновь к событиям 1942 года. В середине июня, успешно сдав 11 экзаменов и зачетов, мы стали студентами второго курса. А уже в начале августа все студенты и персонал МГУ были привлечены к выполнению неотложных нужд военного времени. Одни, как, например, мои однокурсницы Н. Виноградова и К. Успенская, были направлены в школу подготовки снайперов; другие, как большинство моих сокурсников, были мобилизованы на лесозаготовки в Талдомский район Московской области. Об этом и пойдет мой рассказ.

Все началось с дороги. 6 августа 1942 всех студентов филфака плотно загрузили в обычный городской троллейбус, специально предназначенный для этого, и прямым ходом, без остановок, доставили на Химкинский речной вокзал. По этому поводу в моем дневнике записан тут же родившийся стихотворный репортаж:

*Нам Пушкин печально глядел вослед,
Москва нас не провожала,
Она, как всегда, мельтешилась в окне,
Назад торопливо бежала...*

В Химках нас ожидал двухпалубный речной теплоход «Александр Пирогов», и уже к ночи мы двинулись по каналу Москва – Волга. Судно наше до отказа было набито студенческой молодежью, мы с Вадимом Ольшевским из нашей группы кое-как пристроились на верхней палубе, положив под голову рюкзаки, слушали доносившиеся отовсюду обрывки песен, глядели в бархатное звездное небо. Было весело и легко, далеко отошли все тревоги военной зимы. По берегам канала загорались и гасли рубиновые и изумрудные огни. Иногда откуда-то из темноты возникал широкий луч прожектора. Когда он ложился вдоль воды, все вокруг – и наш корабль, и прибрежные строения – превращалось в какое-то бесплотное видение. Под утро разразилась гроза. На палубе – гам, шум, суета, вскрики и смех: спасали от ливня и себя, и вещи. К полудню причалили к пристани возле шлюза и потом со всей нашей поклажей долго перебирались по нему на другую сторону канала. И тут же, на берегу свалились в изнеможении: ведь в нашей команде преобладали женщины. А до поселка, где отряду МГУ надлежало базироваться, нужно было еще идти километров пятнадцать. Решили так: кто не может двигаться дальше, остается здесь со всем багажом до прихода обещанной подводы, а те, кто еще в силах, пойдут сразу. (Мы с Ольшевским были в их числе.) Шли долго и трудно по размытому недавней грозой проселку, добрались до Нового села только в сумерки. Но деревня эта не была базой студотряда МГУ – наша была еще дальше. Пришлось здесь искать место для ночлега. Нам повезло: пустили в сарай, набитый душистым сеном, и даже пригласили в дом «повечерять» с хозяевами. Запомнился мне глава семейства – Булычев Николай Иванович, в молодости бравый драгун на войне 1914 года, а потом – крепкий хозяин, крестьянин, умный и прижимистый, беседовать с ним было интересно и поучительно.

На следующий день прибыли все отставшие. Их тоже пока разместили в Новом селе. Но работать не начинали, потому что людей на лесозаготовки доставили вовремя, а обеспечить их рабочими инструментами, жильем и питанием, не успели. Недели две мы были предоставлены самим себе – бродили по полям и лесам, собирали грибы, малину, чернику, благо их там было в изобилии, – словом, существовали на подножном корму. Голодающая городская молодежь вскоре научилась подручными средствами, в полевых условиях готовить себе пропитание. Для этого нужны только алюминиевый котелок, перочинный нож, спички и соль. Остальное было под ногами. На картофельном поле, где уже собран урожай, всегда можно было найти несколько затерявшихся в земле картофелин. Их мы травой оттирали до мраморной белизны,

крошили в котелок вместе с отборными грибами и ставили на огонь, подвесив его над костром по известному всем туристам способу. Свежие мясистые грибы отдавали все свои соки, в них разваривалась картошка, и получалась сытная пахучая грибная похлебка.

Но вскоре наше беззаботное время кончилось, начались трудовые будни. Студентов филфака во главе с их начальником, доцентом Л.Е. Пинским перевели в соседний поселок Раменье и всех 60 человек обоего пола разместили в бревенчатом двухэтажном доме фабричного типа с широкими большими окнами. Там, на втором этаже, в обширном помещении без перегородок мы и спали на полу, на сениках, расположенных в один ряд, впритык друг к другу.

Работать начали только 20 августа, хотя прибыли сюда еще 7-го. Нас разбили на бригады по 5–7 студентов разного пола, каждая получила двуручную пилу и пару топоров. В нашу бригаду вошли: Ольшевский, Лёня, филолог III курса и девчата не нашей группы – Нина Дмитриева, Магда Ракова, Наташа Лапшина. Меня почему-то назначили бригадиром.

В первый день за несколько часов нас научили, как следует орудовать пилой и топором, как правильно валить большие деревья. И хотя многие из нас, горожан, никогда не занимались этим, мы уже на второй день приступили к лесоповалу: пилили у корня высокие деревья, валили их друг на друга «костром», чтобы легче было их распиливать на метровые плахи и складывать в поленницы, по которым нужно было ежедневно отчитываться за сделанное.

Норма выработки была очень большая, для новичков почти невыполнимая – два кубометра дров на каждого. В нашей бригаде из шести человек сам собой выработался такой метод работы: мужской персонал валил деревья и распиливал их на двухметровые плахи, а девушки обрубали сучья, собирали валежник и помогали складывать плахи в поленницу. А когда при распиловке бревна двуручную пилу зажимало, тогда весь наш женский персонал усаживался на дальний его конец и своей тяжестью помогал высвободить пилу из зажима. Несмотря на тяжесть и утомительность физического труда, в нашей бригаде преобладала дружеская веселая атмосфера. В короткие моменты передышки шутили, травили анекдоты, вспоминали прочитанное, читали стихи, спорили об искусстве. А Лёня-филолог, с бычьим упорством учивший испанский язык, при каждом случае раскрывал карманный словарь и твердил испанские слова. Запомнилось, как он на все лады повторял странное сочетание слов русского и испанского: «Казематы-Касосматос» и другое, нечто подобное. А по вечерам, лежа на своем сенике в общежитии, читал вслух «Илиаду» Гомера.

В сентябре похолодало, пошли холодные дожди, к утру деревья и трава покрывались инеем. Работать приходилось в болотистой местности, одежда и обувь постоянно промокали, многие простужались.

У меня появились признаки обострения моей глазной болезни. Меня направили к врачу, по заключению медкомиссии отряда признали негодным к работе на лесозаготовках и отправили в Москву.

Таким образом уже в октябре я оказался дома, свободным и от трудфронта и от университетских занятий. В освободившееся время появилась возможность выполнить важные и неотложные дела. Во-первых, по просьбе Паустовских (в доме которых я еще со школьных времен был, как говорится, своим человеком) я периодически навещал их квартиру на верхнем этаже писательского дома возле Третьяковки. Она опустела в начале войны, когда писатель К.Г. Паустовский отправился военкором на фронт, а его жена с сыном – в эвакуацию. 9 сентября 1941 года, во время очередного авианалета в их дом и именно в то место, где была квартира Паустовских, попала бомба, но не разорвалась и внешне ничего не разрушила. Тогда же я побывал в их квартире и обнаружил, что эта бомба «прошла» насквозь их заднюю комнату и застряла где-то на нижних этажах, пройдя при этом через середину большого платяного шкафа, превратив его в щепки. Словом, кроме пыли, хлама и пробитой дыры в потолке и в полу, в уцелевшей квартире Паустовских я ничего особого не заметил, о чем тогда же написал Валерии Владимировне в Алма-Ату. Теперь же, год спустя, нужно было выполнить другое важное поручение К.Г. Паустовского: сохранить архив писателя, оставшийся в Москве, и передать его на хранение в библиотеку. Архив этот представлял собой большую, плотно набитую плетеную корзину, обшитую мешковиной с соответствующей надписью на ней. Мне вместе с их прежней домработницей, проживающей в том же доме, предстояло доставить этот тяжелый, но драгоценный груз довольно далеко – на Моховую, в Ленинскую библиотеку. Конечно, никакого транспорта тогда достать было невозможно – нужно было обходиться своими силами. Позаимствовав у кого-то тележку на четырех колесиках-шарикоподшипниках, мы вдвоем потащили свой груз от Лаврушинского переулка, по набережной, через оба Каменных моста на Моховую улицу. С трудом я добился, чтобы к нам вышел заведующий архивным отделом библиотеки; это был пожилой человек по фамилии Кучменко – его я хорошо запомнил. Он сразу же заявил, что Ленинская библиотека вообще не принимает на хранение личные архивы. Но после долгих уговоров, поняв безвыходность положения и его личную ответственность за сохранность архива писателя, он, в порядке исключения, принял на хранение этот архив, дав об этом расписку. И когда Паустовские в 1943 году вернулись из эвакуации и побывали у нас в гостях на Серпуховском валу, они благодарили меня за исполнение их просьб и сообщили, что архив Константина Георгиевича вернулся к ним в полной сохранности. Я хорошо запомнил тот солнечный осенний день 1943 года, когда сам провожал Паустовских в Южном порту на речной теплоход, который должен был доставить

их по Москве-реке и Оке в их любимую Солотчу близ Рязани. Там, в Мещерской стороне они подолгу жили в старинном деревянном доме, некогда построенном известным русским гравером, академиком И.П. Пожалостиным. Солотча и этот дом мне тоже памятны и близки: здесь я провел незабываемое лето 1940 года. Но в повествовании о моих университетских годах нужно опять вернуться к осени 42-го.

До начала занятий в университете я располагал свободным временем. От своей мамы, работавшей тогда экскурсоводом в Историческом музее, я узнал, что в том же здании ЦК ВЛКСМ готовит большую художественно-документальную выставку «Комсомол в Отечественной войне» и там нужна подсобная рабочая сила. Работа была срочной, временной, да к тому же близкой к моей искусствоведческой специальности – я без колебаний оформился «штатным работником выставки». Так это значит в официальном обращении администрации выставки ЦК ВЛКСМ (от 16 ноября 1942 г.) к декану филфака МГУ с просьбой дать возможность студенту второго курса Толстому В.П. работать на этой выставке в утренние часы учебных занятий, учитывая срочность работы по подготовке к ее открытию. Так уж случилось, что с октября 1942 по январь 1943 года мне пришлось совмещать и учебу в университете, и работу по оформлению художественной выставки. Была у меня еще третья учебная нагрузка, тоже связанная со зданием Исторического музея. Дело в том, что еще до трудфронта я записался на курсы Института иностранных языков по заочному изучению французского. Филиал этих курсов, где я получал в распечатанном виде очередные задания и куда возвращал их по исполнению, находился в том же здании Исторического музея. Так что я мог и во время работы на выставке, и в университете находить время для заочного изучения французского. К счастью, все мои занятия собрались в одном месте.

Для экспозиции большой представительной выставки ЦК комсомола были предоставлены просторные светлые залы верхнего этажа Исторического музея, окнами обращенные к Кремлевской стене и Никольской башне. Задачей этой художественной выставки, открываемой в разгар Великой Отечественной войны, было всеми средствами изобразительного искусства, документалистики и наглядной пропаганды прославить боевые и трудовые подвиги советской молодежи, и, конечно, ее передового отряда – коммунистов и комсомольцев. Для этого были мобилизованы все лучшие силы художников, скульпторов, декораторов и оформителей. А главными художниками экспозиции были назначены такие видные мастера этого дела, как художники Андрей Гончаров и Георгий Рублёв. От ЦК ВЛКСМ за идейно-политическое содержание выставки отвечал Дмитрий Николаевич Писаревский – довольно молодой, щеголеватый в своей полувоенной одежде человек явно начальственной породы. Его заместителем по организационно-хозяйственным вопросам был юркий и деловитый Александр Езерский,

а его помощницей и моей непосредственной начальницей была Мария Васильевна (фамилию не помню) – рыхлая, крикливая, но в сущности добродушная баба неопределенного возраста. И замдиректора А. Езерский, и завхоз Мария Васильевна обычно сидели за столом в углу нижнего вестибюля, откуда в экспозиционные залы на верхнем этаже вела прямая длинная лестница, примыкавшая к глухой стене. Писаревский бывал на выставке наездами: внезапно появится, пробежит по залам, на ходу бросая замечания сопровождающим или давая нагоняй за отставание по срокам, и исчезнет. А мы, подневольные, должны все это исполнять. Моей обязанностью было постоянно находиться в залах выставки, чтобы быть на подхвате у работавших там художников и оформителей. Поэтому у меня была возможность вблизи и подолгу следить за работой живописцев, пишущих свои героические батальные композиции прямо на стене, вернее, на наклеенном холсте. Иногда с ними удавалось поговорить, спросить о том, что рождается у тебя на глазах. Технология живописи у всех была одна: холст, масло или темпера, а вот колорит, живописная манера и трактовка избранной темы были разными, иногда несовместимыми друг с другом. В экспрессивном плакатном духе решали свою композицию «Вперед, на Запад!» художники А. Гончаров и Г. Рублёв. В своей характерной динамичной манере повторял на стене известную картину «Оборона Севастополя» А. Дейнека. А панно украинского живописца Г. Меллера было светлым, солнечным, многокрасочным, написанным в импрессионистской манере. Совершенно иным по настроению и колориту было огромное мрачно-коричневое панно С. Никритина. В его словно песчаной бурей охваченном пространстве вдоль нижнего края композиции проглядывали неясные очертания танков и бронемашин, похожих на миниатюрные детские модели. Они затерялись, потонули в этом бескрайнем мглистом пространстве, где нет ни горизонта, ни неба, ни солнца... Таким мрачным и трагическим запомнилось мне это огромное панно, заключенное в рельефную гипсовую раму. Видно, что оно хорошо продумано и тщательно выполнено. Никритин упорно работал над своей композицией. Он первым из художников являлся на выставку и последним уходил с нее. И редко отрывался от своего полотна. Писал он неторопливо, вдумчиво, тщательно прописывая все детали своих словно игрушечных танков. Подчеркнуто монохромная живопись этого панно – без крупномасштабных фигур, экспрессивных жестов и развитого сюжета – казалась чужеродной среди общей мажорной экспозиции этой выставки, да и мне, в общем, не очень-то нравилась, но почему-то крепко запомнилась.

Помимо обязательного дежурства на выставке, в мою обязанность входило и выполнение разных поручений по городу. Например, получить и привезти на себе громоздкий проекционный фонарь, взятый в одном из заброшенных бесхозных павильонов ВСХВ. А однажды мне

довелось посетить Илью Эренбурга на его квартире в доме на углу улицы Горького и Советской площади. Мне поручено было взять у Эренбурга какой-то материал для выставки. Он вышел в прихожую со своей неизменной трубкой в зубах, в облаке ароматного табака, где-то вдали твюкала его любимая такса. Он молча вручил мне пакет и, попросившись, удалился. На том и закончилось мое знакомство с этим писателем и публицистом – врагом № 1 Гитлера... В том же доме я не раз бывал в мастерской военного художника Николая Жукова и там познакомился с поэтом А. Яшиным и писателем-партизаном П. Вершигорой.

Наряду с повседневной рутинной работой на выставке случались и приятные, радостные моменты. Так, к XXV годовщине Октября ЦК ВЛКСМ решил поощрить работников своей выставки приглашением на праздничный ужин 7 ноября 1942 в ресторане гостиницы «Москва». И вот я уже вижу себя и сотрудников сидящими за одним из праздничных столов с давно забытыми угощениями и винами. А вокруг все великолепие праздничной атмосферы парадного зала: блеск хрустальных люстр, веселая музыка, роскошь беломраморных и лазоревых колонн, а над головой – грандиозный пространственный живописный плафон Евгения Лансере, иллюзорно расширяющий реальное пространство этого зала с огромными окнами, за которыми – мрачная ночь и пустынная площадь военной Москвы. Разительный контраст этих двух пространств – наружного, сурового и теплого, праздничного – ярко запечатлелся в моей памяти. Рассказать о праздничной атмосфере и красоте этого зала необходимо еще и потому, что всего этого – и уникального плафона Лансере, и мраморной колоннады, и изящных колонн цвета ляпис-лазури, и блеска хрустальных люстр – уже никто не увидит: все это вместе со старой гостиницей «Москва» безвозвратно поггло и осталось только в памяти тех, кто там побывал.

Другой, тоже памятный, но вовсе не радостный для меня случай произошел в последние лихорадочные дни перед торжественным открытием выставки. Для окончательного просмотра экспозиции здесь собрались все ответственные лица – и от ЦК Комсомола, и художники, и те, кто здесь трудился. Придирчиво осматривая каждую деталь экспозиции, кто-то из «особо бдительных» заметил, что отклеился уголок большого увеличенного фотоизображения над дверью. На этот пустяк никто не стал бы обращать внимание, если бы это не был портрет товарища Сталина. Чтобы не заподозрили в неуважении к особе, было решено немедленно все исправить. А кому поручить это дело, сомнений не было: конечно, рабочему выставки, то есть мне. Из имеющихся у нас лестниц ни одна не дотягивалась по высоте до нужного места. Тогда решили связать две лестницы. Но тогда это сооружение оказалось слишком длинным, оно упиралось в потолок. Для того чтобы добраться до необходимой точки на фотоизображении, пришлось поставить эту длинную лестницу полого – под углом 45 градусов. Когда я под-

нялся по ней на довольно большую высоту и уже приступил к делу, низ лестницы заскользил по полу, и у всех на глазах я с грохотом рухнул вместе с лестницей, разбивая застекленный выставочный стенд. К счастью, я еще хорошо отделался – не поломал рук-ног, а только получил ушибы и ссадины да легкое сотрясение головы. Одним словом, как потом шутили, я оказался «первой жертвой культа личности». Об этом трагикомическом случае упомянуто даже в книге Б. Филиппова «Музы на фронте» (М., 1975. С. 163–164). Здесь приводятся воспоминания А.Д. Гончарова о том, как «с летницы-стремянки высотой в 4 метра (а фактически 7) падал на стеклянные витрины молодой человек, приданный мне и Рублёву в помощники, Володя Толстой, ныне один из видных московских искусствоведов. Как он не покалечился и разбил всего лишь одну витрину – одному Богу известно!»

1943 год мне особо памятен: он был насыщен многими событиями как в судьбах нашей страны, так и в моей жизни. Начало этого года отмечено победным завершением кровопролитной Сталинградской битвы, ставшей поворотным пунктом в ходе всей мировой войны. Торжество грандиозной победы над врагом было неотделимо в нашей душе от горечи утрат, от огромной, невосполнимой цены этой победы. Летом следующего, 1944 года в Москве, на Садовом кольце, я вместе со всеми наблюдал, как, подобно реке, бесконечно тянулась серая масса немецких военнопленных, взятых под Сталинградом. Это было незабываемое зрелище! А для меня лично 1943 год ознаменован и другим скорбным событием – гибелью на фронте моего ближайшего друга Юры Галямина. Его похоронили на Тульском братском кладбище. Через год, в марте 44-го, его родители решили перезахоронить его в Москве, и я отправился с ними в Тулу и присутствовал при вскрытии могилы. Есть какая-то ужасная несправедливость: почему этот прекрасный, добрый, талантливый юноша, самой судьбой предназначенный для долгой счастливой жизни и творчества, умер так рано, а мне почему-то даровано жить до глубокой старости? Этот вопрос постоянно стоит передо мной. Кто определяет судьбы людей, где здесь разумная справедливость? Наверное, у всех, прошедших горнило войны и выживших, невольно возникает чувство вины перед теми, кто погиб в те годы, перед моими сверстниками, которые могли бы многое совершить, если бы их жизни не прервались так рано...

Вообще, с Тулой в годы войны у меня возникла какая-то магическая связь. В этот город и в его окрестности меня неоднократно приводила судьба. С Тулой связаны памятные для меня события: в сентябре 41-го мы с мамой отважились навестить отца – Павла Владимировича Толстого, отсидевшего полные 10 лет в концлагерях ГУЛАГа и освобожденного в 1940 году, но и тогда лишённого права жить с семьей. И до и во время войны он работал водителем грузовика на руднике в поселке Барсуки под Тулой. Осенью 1943 года, как только окрестности

Тулы были освобождены от немцев, мы с мамой снова навестили отца на его руднике в Барсуках, куда, к счастью, оккупанты не дошли.

Самым главным из всех моих поездок в Тулу в военное время было посещение Ясной Поляны. В ней мы с мамой побывали 18 сентября 1943 года по возвращении от отца из Барсуков. В Ясной, недавно освобожденной от оккупации, нас приняли с удивлением и радушно, ведь мы были первыми «штатскими» посетителями. Был ясный солнечный день ранней осени. Чувствовалось, что все здесь полно памятью великого человека. Мы побывали на оскверненной оккупантами скромной могиле Л.Н. Толстого, окруженной фашистскими захоронениями. Велика заслуга сотрудников музея, сумевших в те черные дни сберечь нашу национальную святыню. Свою благодарность им – Н.П. Пузину, М.И. и С.И. Щеболевым и другим – и свои впечатления о посещении Ясной Поляны мы тогда же записали в книге отзывов от 18 сентября 1943 года. И эта запись, как я убедился впоследствии, сохранилась в архиве музея.

Теперь перейдем к нашей университетской жизни военных лет. В 1944–1945 годах занятия в университете становились все интенсивнее и напряженнее. Наряду с очередными лекциями и семинарами и, соответственно, экзаменами и зачетами по ним, мы проходили практику в музеях и готовили письменные работы по истории и теории искусства. Я лично за время учебы в МГУ представил шесть рефератов и докладов на семинарах по следующим темам: «Афинский Парфенон», «Статуя “Давид” скульптора Бернини», «Голландский живописец Ян Вемеер», «Творчество Боровиковского и русский сентиментализм», «Живописный триптих “Александр Невский” П.Д. Корина», «Жизнь и творчество скульптора Анны Голубкиной». В связи с этим (не для похвалы, а для сведения) приведу выдержки из моей характеристики, подписанной старостой и комсоргом искусствоведческого отделения: «...он добросовестно относится и к семинарской работе. Доклады, прочитанные им, поражали товарищей и преподавательский состав своей продуманностью, ясностью изложения, прекрасным знанием и богатством материала...» Конечно, следует сделать поправку на явное преувеличение в характеристике моих работ. Но ведь ее подписали Светлана Ходжаш и Лидия Акимова, а их мнение остается для меня дорогим и ценным.

Хорошо помню одно из семинарских занятий, которым руководил профессор Алпатов. На нем я прочел доклад о триптихе П.Д. Корина. Дело происходило в недавно открывшейся после эвакуации и ремонта Третьяковской галерее. Осенью 1943 года здесь была развернута большая художественная выставка под названием «Героический фронт и тыл». Впервые наш учебный семинар проходил непосредственно перед самым обсуждаемым объектом – подлинным живописным произведением, впервые показанным на выставке. В своем докладе я говорил, что

в живописном триптихе Корина «Александр Невский» глядит на нас исконная древняя Русь с ее могучим народом, родной природой и славной историей. Цельность и нравственная сила этих былинных героев и живописная мощь триптиха П.Д. Корина, а также его живописных портретов, показанных на выставке, резко выделяет их среди безликой массы картин на исторические и батальные темы с их преувеличенной театральной жестикуляцией и вялым колоритом. В ходе обсуждения на семинаре мнения разделились: некоторые не столько критиковали мой доклад, сколько нападали на живописную манеру Корина. Мой сокурсник, задиристый Саша Каменский обличал живопись Корина за подражание «северному модерну» с его жесткостью и гладкописью. Указывая на висящий по соседству с триптихом коринский портрет академика Гамалея, он патетически восклицал: «Перед нами не живой человек, а труп: смотрите, как его накрахмаленный халат корезит и душит живую плоть!» И если в моем докладе были преувеличения в оценках, то и в полемике со мной – явные перехлесты. Противоречивые мнения и горячие споры вообще были присущи нашим семинарам. Кончился «голод по подлинникам искусства», появилась возможность видеть и изучать их в музеях и запасниках. Тем, кто решил специализироваться на изучении древнерусского искусства, особенно повезло. С радостью вспоминаю нашу практику в фондах Третьяковской галереи под материнской опекой двух милых дам, хранительниц русской иконы Н.Е. Мнёвой и Н.И. Антоновой. У Наталии Алексеевны Дёминой мы приобщались к творениям Андрея Рублёва и его времени. Наведывались мы и в Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), находившиеся тогда в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке. Там мы внимательно следили, как неторопливо и бережно работают реставраторы над иконой, освобождая от поздних записей первоначальный красочный слой. Мы с Олегом Сопочинским так погрузились в изучение технологии древнерусской живописи, что и по окончании университета, уже в аспирантуре, добились организации для нас спецкурса по технологии и реставрации иконописи и фресковых росписей. Занятия эти вела у себя на дому Екатерина Николаевна Домбровская – реставратор с большим практическим опытом, к тому же умеющая обо всем этом без упрощения предметно рассказывать.

Вообще, практическим занятиям, непосредственному контакту с изучаемыми памятниками искусства уделялось тогда усиленное внимание – может быть потому, что в первые годы обучения мы были разлучены с ними. Огромным, незабываемым событием для нашей группы была двухнедельная экскурсия в Ленинград в июне 1945 года, рассматриваемая как важное практическое занятие с подлинниками искусства. А для нас побывать в этом великом многострадальном городе, недавно освобожденном от блокады, было огромной радостью и наградой. На

поезде мы долго, с остановками – почти сутки – добирались до Ленинграда, по пути видели, какое разорение нанесла война: разбитые строения, запущенные безлюдные поля... Но сам город показался нам, несмотря на разрушения, удивительно прекрасным, словно все военные беды его не коснулись. Теплые белые ночи позволяли подолгу бродить по его набережным и площадям, рассматривать архитектурные шедевры, хотя многие знаменитые памятные места, музеи и монументы еще были укрыты и недоступны. В одну из таких светлых ночей мы направлялись от Таврического дворца к грандиозному барочному ансамблю Смольного монастыря. Когда мы вплотную подошли к собору, руководитель нашей ленинградской практики Юрий Дмитриевич Колпинский – наш любимый профессор – остроумный и экспансивный человек, остановившись у затейливо изогнутого барочного угла собора, воскликнул: «Смотрите! Как здесь “вжикнулось” мировое пространство!...» Этот случай крепко запечатлелся в памяти. А поведать обо всех перипетиях нашей тогдашней поездки в город, ныне именуемый Санкт-Петербургом, не берусь. Об этом живо и остроумно написала моя однокурсница, а в то время уже молодая жена Надежда Анатольевна Виноградова в очерке под названием «Наша университетская одиссея»¹. С Надей Виноградовой я учился в одной группе с марта 1942 года. Мы постоянно общались, постепенно образовалась дружная компания, куда входили мы с Олегом Сопоцинским и ее близкие подруги – Таня Каптерева, Нина Дмитриева, Надя Розанова. Иногда мы собирались у Розановых в старой профессорской квартире ее деда, академика М.Н. Розанова. В живых его я не застал, но познакомился с сыном – В.М. Розановым и его женой Наталией Валентиновной – родителями Нади.

С Надей Виноградовой наши отношения в университетские годы развивались неторопливо, но по нарастающей: от обычной дружбы сокурсников – к взаимному интересу и симпатии; от робкого общения – к более явному проявлению чувств, иногда принимавших необычную форму – обмен стихотворными посланиями (с намеками) в духе лаконичных японских хокку... Вот, например, один из таких поэтических диалогов.

Надя: *Покая не могу найти я и во сне
С тревожной мыслью не могу расстаться. –
О, ночь весенняя все снилась нынче мне,
Что начали цветы повсюду осыпаться...*
(Это перевод подлинного японского хокку).

Володя (в ответ): *Нет, то лишь сон:
Цветы не опадают....
Когда весной полна земля...
Но ведь никто грядущего не знает...
Не торопи меня...*

Стиль этих посланий объясняется тем, что Надежда Виноградова увлеклась искусством Дальнего Востока и уже твердо избрала для

себя будущую специализацию. Далее наши отношения развивались так бурно, что весной 1945 года, одновременно с победным окончанием войны мы зарегистрировали свой брак. Это произошло 10 мая 1945 года в каком-то захудалом районном загсе, а потом мы отметили это событие в узком кругу друзей. Праздновать-то было некогда: впереди была поездка в Ленинград, и потом до конца года нужно было представить свою итоговую дипломную работу и подготовиться к госэкзаменам. Надя проходила практику в гравюрном кабинете ГМИИ, там же готовила свой диплом. Я тоже усиленно занимался своей отчетной работой – всесторонним исследованием иконы Дионисия «Митрополит Алексей и житием» (конец XV века). Для этого пришлось углубиться в изучение исторических, литературных и искусствоведческих материалов, связанных с деятельностью митрополита Алексея и посвященной ему житийной иконы – замечательного творения Дионисия, созданного в эпоху высокого подъема культуры и искусства Русского государства времен Ивана III и деятельности итальянских зодчих в Московском Кремле. Помимо работы над текстом дипломной работы, много усилий потребовалось для изготовления иллюстраций к ней. Фотографировать с книг в библиотеке не разрешали, поэтому приходилось перерисовывать через папиросную бумагу нужные репродукции. Но в конце концов все трудности были преодолены, Надя и я вовремя закончили и успешно защитили свои работы.

А вот с подготовкой к госэкзаменам к концу года у нас возникли трудности. Дело в том, что поздней осенью, когда срок сдачи экзаменов был близок, Надя была уже беременна и чувствовала себя плохо. Решено было готовиться к экзаменам по истории искусств вместе – я, Олег и Надя – у нее дома, в Колпачном переулке (где мы тогда жили вместе с ее мамой Еленой Всеволодовной). Подготовка к экзамену обычно проходила так: Сопоцинский читал записи лекций, Надя, лежа, слушала и вслух повторяла прочитанное, а я записывал самое необходимое в обобщенную синхронистическую таблицу. В нее нужно было уместить основные данные об архитектурных, скульптурных, живописных и иных произведениях и их авторах – от Средневековья до Нового времени, распределяя эти сведения по хронологии и принадлежности авторов к той или иной художественной школе. В результате у нас получилась систематизированная, компактная сводка всего, что нужно было знать на экзамене по истории мирового искусства. Ведь Виктор Никитич Лазарев требовал от каждого студента полного и конкретного ответа. До сих пор у меня хранится эта огромная, как простыня, синхронистическая таблица, хотя пользоваться ею на экзамене было невозможно, да и не требовалось: ведь все необходимое было уже в голове. К этому экзамену мы готовились основательно – изо дня в день, вечерами до полночи, преодолевая утомление и скуку. Наде приходилось особенно тяжело. Временами от усталости она отключалась, тогда мы ее тормо-

шили, заставляли повторять упущенное. Но в конце концов такой способ подготовки себя оправдал. Мы успешно сдали оба госэкзамена – и по специальности, и по неизбежному для всех предмету «Основы марксизма-ленинизма».

За укороченный для нас срок обучения в университете (вместо обычных пяти лет – три с половиной года, с марта 1942 по 31 декабря 1945-го) мы прослушали курсы лекций и семинарских занятий и сдали по ним экзамены и зачеты в общем счете по 35 предметам. По сохранившейся зачетной ведомости, прилагаемой к диплому № 220777 об окончании МГУ, можно узнать, какие дисциплины мы изучали. Кроме четырех общеполитических дисциплин по основам марксизма-ленинизма, диалектическому и историческому материализму, политэкономии капитализма и социализма, мы прослушали лекции по древней истории, древнерусской и русской литературе XVIII–XIX веков и советской литературе, а также были занятия по иностранному языку – в целом, 11 предметам, обязательным для всех студентов филологического факультета (в состав которого тогда входило и искусствоведческое отделение). А все остальные 24 предмета относились к изучению различных аспектов нашей будущей профессии. Тринадцать из них – это лекции и семинарские занятия по истории мирового искусства от древнейших цивилизаций и искусства Ближнего и Дальнего Востока и античного мира до средневекового искусства Византии и Европы, итальянского и северного Возрождения, а также по истории западноевропейского искусства Нового времени и общей теории искусства. Истории отечественного искусства (русского и народов СССР) посвящалось 7 курсов лекций по всем ее этапам, начиная с древнерусского, кончая советским временем, и еще спецсеминары по русскому и западноевропейскому искусству XVIII–XX веков. Технологии и практическим навыкам, необходимым искусствоведам, посвящались лекции и семинары по описанию и анализу произведений изобразительного искусства, музееведению, технологии реставрации памятников и практическим занятиям по рисованию и живописи.

Итак, к январю 1946 года, успешно сдав оба госэкзамена и защитив в присутствии профессоров и всего коллектива отделения истории и теории искусств филфака МГУ свои дипломные работы по избранной теме (что во многом определило наши дальнейшие профессиональные судьбы), мы тем самым завершили нашу университетскую эпопею. Но фактически и после получения диплома для многих из нас учеба продолжалась: Н.А. Виноградова, работая в гравюрном кабинете ГМИИ, готовила диссертацию по искусству Дальнего Востока. А нас с Олегом Сопоцинским, решивших изучать древнерусскую живопись, руководители наших дипломных работ рекомендовали в очную аспирантуру недавно созданного при Академии наук СССР Института истории искусств, где директором был академик Игорь Эммануилович Грабарь,

а сектором изобразительных искусств ведал Виктор Никитич Лазарев. В составе этого института в то время были видные деятели искусств и ученые – С. Эйзенштейн, Б. Асафьев, А. Шусев... А в сектор изобразительного искусства входил сам И.Э. Грабарь и многие наши профессора: Б.Р. Виппер, М.В. Алпатов, А.А. Сидоров, Н.И. Романов (бывший директор Румянцевского музея), А.М. Эфрос, А.Д. Чегодаев, И.С. Зильберштейн, Н.М. Гершензон и другие известные искусствоведы. Сдача вступительного экзамена в аспирантуру для нас не составляла труда, и уже 5 февраля 1946 мы с Олегом Сопочинским и ранее окончившая МГУ Ирина Евгеньевна Данилова были зачислены в очную аспирантуру. Эта дата оказалась для меня дважды знаменательной: в один и тот же день, 5 февраля 1946 года, родилась моя дочь Татьяна, и я стал аспирантом... А в июне того же года мы, трое новоиспеченных аспирантов Академии наук СССР, отправились в свою первую научную командировку по изучению памятников древнерусского искусства Вологодской области в ее музеях, в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях. Практические результаты и впечатления о наших странствованиях по Русскому Северу – это особая тема, не относящаяся к данному тексту. Замечу лишь, что об этом можно прочесть в Ферапонтовском сборнике VI². Эта командировка и незабываемая университетская экскурсия в Ленинград за год до нее в моей памяти тесно соединены – и по времени, и по своей искусствоведческой направленности, по участию в них моих близких друзей.

Годы 1945–1946 – это необычайная пора нашей жизни. После всех тяжких потерь и сверхчеловеческого напряжения военных лет, увенчавшихся великой Победой, народ уповал на светлое будущее, на мирную жизнь и свободу. Особенно эти настроения были характерны для молодого поколения и тех, кто прошел горнило войны. Это общее духоподъемное настроение разделял и я, успешно закончивший университет, ставший аспирантом, молодоженом и отцом новорожденной дочери. Конечно, в те первые послевоенные годы вылезли наружу и уродливые, темные стороны жизни: руины и трупы городов со стихийно возникающими повсюду дикими базарами, со множеством бродяг, беспризорников, инвалидов и прочих потерявших себя людей, выбитых из жизни. Но все это, как тогда считалось, было неизбежным следствием войны и потому скоро уйдет... Наверно, это было естественное заблуждение молодости. Я же, вспоминая те годы, вижу прежде всего светлые, положительные стороны жизни. Тогда никто еще не предчувствовал, что скоро наступит иная, черная полоса нашего послевоенного существования – период новых репрессий, подозрительности, страха и государственного диктата во всех сферах жизни и творчества, времена «сталинщины», «ждановщины», «лысенковщины», а для нашей области еще и «кеменовщины», когда в институт Грабаря в качестве «парткомиссара» будет назначен искусствовед В.С. Кеменов, призванный

искоренять крамолу и наводить порядок в сфере идеологии. В частности, нас, аспирантов этого института, Кеменов своим административным приказом резко повернул к современности, волевым порядком заменив темы диссертаций И. Даниловой, О. Сопоцинского, В. Полевого и мою на изучение советского искусства.

Такая же реакционная охранительная политика во всех сферах культуры проводилась и в отношении наших старших коллег и в Институте истории искусств, и в созданной в 1949 году Академии художеств СССР. Но это уже иные времена и иные сюжеты. А мне хочется закончить свои воспоминания на светлой, оптимистической ноте.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Виноградова Н.А. Наша студенческая одиссея // Кабинет ученого. Научные статьи, публикации, эссе / Отв. ред. Малинина Т.Г. (Сборник посвящен юбилею и более чем 50-летней научной деятельности члена-корреспондента Российской Академии художеств, доктора искусствоведения, профессора Владимира Павловича Толстого). М., 2006. С. 294–305.
- 2 Толстой В.П. Поездка в Вологодский край в июне 1946 года // Феропонтовский сборник VI. М., 2002. С. 354.